

Эпилог. Личное

Вот и закончил книгу. Когда начинал, думал, что доведу "свое время" до "последнего дня" и еще раз пройду по всему горбачевскому периоду. "Проявлю" все то, что 2-3 года назад в книжке "Шесть лет с Горбачевым" не считал возможным выставить на всеобщее обозрение. Но мемуары мои, неожиданно для меня самого, разрослись, а на те же шесть лет потребовалась бы еще не одна сотня страниц.

Поэтому я решил весь политический сюжет этой книги воспоминаний ограничить свидетельскими показаниями, конечный смысл которых, - показать, что после Брежнева (и даже гораздо раньше) стране нужен был именно Горбачев. Ни новый Сталин, ни воскресший Хрущев, ни Андропов, ни кто-то подобный технократу Косыгину. **А именно такой человек, как Горбачев.**

Не буду ни с кем вступать тут в полемику. Она вообще нескончаема. Готов согласиться, что Горбачев больше разрушил, чем "дал" (у нас ведь за 70 лет привыкли все получать). Хотя "дал" Горбачев, между прочим, нечто принципиально для нас новое - свободу. Но, главное, он разрушил то, что нельзя было сохранять дальше. Иначе нас самих и весь мир постигла бы самая настоящая катастрофа. Он разрушил тоталитарный строй. В этом, видимо, объективно и состояла историческая миссия его "пришествия" и его деятельности. Хотя по натуре своей Горбачев, в отличие от Ельцина, - не разрушитель.

И еще я хотел сказать этой книгой, что политика Запада, прежде всего США, в отношении СССР, была глупой. Объявленными ее целями было - оградить мир от экспансии коммунизма, обезопасить демократические ценности и утвердить права человека. Но к этим целям мировое сообщество пришло бы и без холодной войны, без ядерной и иной гонки. Пришло бы раньше, чем это случилось. Примененные средства - ядерный шантаж и подчинение практически всей международной политики антисоветизму только отдаляли цель. Они позволяли Сталину и тем, кто пришел вслед за ним, спекулируя на патриотизме народа, вынесшего страшную войну и победившего в ней, укреплять свою власть, продлевать жизнь тоталитарному строю в СССР, не говоря уже о перманентной угрозе непреднамеренного срыва в ядерный конфликт.

Антисоветская политика США и НАТО была построена на мифах, созданных в госдепе, ЦРУ и всяких "фондах наследия", впрочем не без целенаправленной иногда дезинформации от собственных служб. И, конечно, - не без помощи советской пропаганды и нашего демонстративного самообмана. Эта политика была лишена адекватного знания о наших реальных возможностях и о действительных намерениях Кремля. Идеологические постулаты, давно предназначавшиеся для внутреннего потребления и сохранения соцлагеря, расшифровывались на Западе, как якобы политическая установка на покорение мира. Вершители НАТОвской стратегии были в полном неведении, как на самом деле делалась политика в

Москве, от чего зависели те или иные решения, как они принимались и какова была настоящая ценность (т.е. и эффективность) оглашаемых в торжественных докладах и постановлениях ЦК "анализов ситуации", целей СССР на мировой арене.

Глупость НАТОвско-американской политики сразу же обнажилась, как только Горбачев перевел стрелку на рельсы нового мышления. Но сколько потерь, жертв, пустой траты слов, искренних и подлых, во вред людям, стоила эта глупость! Не говорю уж о колоссальной умственной энергии, затраченной на совершенствование орудий истребления, о психических перегрузках и поломанных судьбах миллионов людей!

Да, мы "русские" ("russians"), тоже виновны. Мы "оступились" еще в 1917 году..., хотя избежать этого Россия тогда не могла. Но западная демократия, носительница христианских ценностей, вооруженная многовековой великой философией и обладающая колоссальным политическим опытом, она-то почему не сумела и не захотела разгадать неумолимость хода истории после Второй мировой войны, которая не могла не быть последней? Почему за советской идеологией не увидели неизбежности того, что произошло в СССР в 80-х годах? А произошло бы это, утверждаю всем содержанием своей повести о кремлевских перипетиях, - без посторонней (внешней) "помощи", то есть - без так дорого обошедшейся всем холодной войны, исковеркавшей естественное развитие мира после 1945 года и задержавшей переход к демократии всех, кто сражался против нацизма и фашизма.

Ну, хорошо... Эпилог этот предназначен не для того, чтобы продолжать тему последних четырех глав книги. Ведь в ее названии первые два слова "моя жизнь...". Но о своей личной жизни я пишу много (и преимущественно о ней), когда речь шла о детстве, юности, о "моей" войне, и, пожалуй, о десятилетии после войны. Потом мемуары переходят по большей части в своего рода политический дневник. Этим, главным образом они, и могут быть интересны не только моим друзьям.

И все же. Ведь еще при описании своего "становления" в школе и в университете я обозначил две "ипостаси" своей жизни: самоидентификация в освоении культуры и "женское начало", как импульс и сокровенный смысл моего "бытия" Мой интерес к жизни определялся ими. Не карьера, не честолюбие, не профессиональный успех и слава, не престижное благосостояние, а именно они, впрочем, связанные друг с другом. И они никуда не делись и в 60-х годах, когда началась моя долгая и мучительная служба возле политики.

С отрочества никогда я не отрывался от этих двух "констант" моей природы. Им отдавалось лучшее, что было во мне и что, в свою очередь, сохранялось благодаря им.

О "самоидентификации в культуре" (пусть будет так - выпендренно) в эпилоге писать не буду. Это просматривается в политической тематике текста. А вот о деликатной, собственно личной стороне своей жизни в

последние 40 лет я считаю себя обязанным кое-что сказать. Иначе не буду "правильно понят" и во всем остальном. Логика моего пребывания "в службе" и все то, что с ней связано, вытеснила из текста логику (и содержание) моей личной жизни. Но эта "внутренняя логика" сохранялась. В том двоемыслии, в котором пришлось жить, именно она обеспечивала душевный и идейный баланс. Питалась она из того самого источника, к которому я "припал" в "моей школе" и который не сумели не заглушить, не замутнить ни война, ни (что более странно) долгое пребывание в номенклатуре.

Общение со школьными друзьями, которых, правда, оставалось все меньше, постоянно напоминало о том, чему невозможно было изменить, не предавая своей индивидуальности и начал внепартийной порядочности. Наиболее значительным в этом смысле была для меня, позволю себе это слово, дружба с Давидом Самойловым. Мы "расстались" с ним в этой книге в первые послевоенные годы. Однако на протяжении всех лет до его смерти в 1990 году, мы никогда не теряли друг друга из виду. Не хочу сказать, что в его отношениях с огромным числом людей - почитателей, друзей, приятелей, близких по творческим делам - я был "из первого ряда". Но мне казалось, что, в отличие, скажем, от других "школьных", я был всегда желанным. Хотя, говорят, он временами довольно зло отзывался о моей "аппаратной принадлежности", считая, что я "попал в плохую компанию". Несмотря на это, ему со мной было вроде "хорошо". Нечего и говорить, что сам он присутствовал в моей жизни не только своей поэзией.

Я так до конца и не мог справиться с внутренним удивлением, что тот самый Дезька, с которым я сидел за одной партой и общался как с "себе подобным" - автор произведений из золотого фонда великой русской литературы. Это, видно, сродни тому недоумению, которое всегда возникает, когда читаешь об отношении к Пушкину в окружавшем его светском обществе - его принимали там за такого же, как они сами.

Я был первым (не считая жены) слушателем его ставших знаменитыми вещей. В том числе "Поэт и Анна". Во время очередного сборища у Феликса Зигеля он вывел меня на лестничную площадку и произнес, дирижируя себе характерным жестом - пальцы щепоткой над плечом - эту поистине великую вещь. Мне первому он начал читать свою прозу - еще в 1975 году, на Пролетарском проспекте, где он тогда получил огромную нелепую квартиру. Я нередко бывал у него в его последней московской квартире недалеко от Каланчевки.

Самойлов "рассуждал" со мной о политике и говорил много необычайно прозорливого... при его-то информированности - ведь он тогда уже почти ослеп и читал по полторы страницы в день! Но он много глубже и правильнее наших политиков и ученых понимал неистребимые токи исторического движения России. С этих позиций он оценивал и смысл диссидентства, считая, что великое дело великого Сахарова портят и еще сильно попортят в будущем разные прилипалы.

Я наблюдал Давида среди его детей, которых он "в подражание Пушкину", завел в большом количестве со своей новой женой Галей. (Однажды в присутствии и Гали, и Ляльки он хохотнул: "я был дважды женат и оба раза удачно"). Вообще он не скромничал, особенно в подпитии, связывая себя с Пушкиным. Согласитесь, многое в его поэзии действительно было "от Пушкина" - напрямую, "без посредников". В том числе необычайное проникновение в русскую историю, в исконную народную психологию. Меня это всегда поражало в нем. Я считаю его "Анну Ярославну" едва ли не самой патриотичной из миниатюр российской поэзии. "Тот не еврей, кто не лелеет русскую культуру", - однажды слишком для него серьезно произнес он. Вообще, в нем не было ни грана от провинциального еврейства, свойственного многим даже очень образованным людям, которые гордятся не самыми лучшими свойствами своей нации (вместо того, чтобы стесняться их, не выставлять напоказ).

Были и скандальные пьяные словесные драки в очень разношерстной компании, которая собиралась у него в Опалихе! Заводилой была Галя, не очень меня жаловавшая (особенно за то, думаю, что я не переставал любить первую его жену - Лялю). Она честила меня как номенклатурщика, который "хорошо устроился" и может позволить себе презрительно отзываться о "копошащихся у политического корыта" мелких диссидентиках. Бывало, приходилось хлопать дверью. Мой друг наблюдал эти "массовые" скандалы иронично и снисходительно, не пытался разнимать.

В дневнике десятки страниц заполнены описаниями встреч с Давидом Самойловым, иногда и резко неприязненными (пьяный, а это случалось часто, он был - "очень нехорош"). Может быть, я еще и соберу вместе эти мои заметки, и отдам какому-нибудь журналу - для будущей "самойлианы".

Давид Самойлов займет место в ряду крупнейших русских поэтов XX столетия. Не "советских", а именно русских, включая таких эмигрантов, как Ходасевич и Георгий Иванов.

А что же, наконец, - о главном импульсе моей личной жизни? Об этом я собирался написать целую большую главу. Но, перечитав 24 "тома" дневников, понял, что в этой книге она невозможна и неуместна. Если просто собрать только то, что поддается на эту тему публикации, получилась бы еще целая книга.

В женщинах, встречавшихся на моем долгом пути, в каждой из них, было что-то особое, неповторимое, не банальное и остается "во мне", не уступая ни времени, ни другим увлечениям. Почти все обогатили меня эмоционально и духовно. Благодаря им сохранялось лучшее, что дала мне природа. Присутствие их останавливало меня в поступках, за которые было бы потом очень стыдно. "Периодизацию" моей биографии правильнее всего было бы составлять по женщинам, сыгравшим решающую роль в моем развитии (хотя периоды чаще всего наплывали друг на друга). (Друзей среди мужчин у меня на протяжении жизни было всего... наперечет).

Женщины помогали понять, что такое действительно прекрасное, что стоит ценить, что означают доподлинная радость, отдых, счастье, в чем, собственно, конечный смысл в общем-то очень короткого пребывания в этом мире.

Признательность им - будто пожизненная "прививка" в моем организме.

О первой своей послевоенной любви я написал в V главе. Вторая пришлась на самый трудный период моей службы в режиме двоемыслия (помните хохму: "морально тяжело!"). Любовь эта была богата интеллектуально. Через нее проходила строгая проверка моей порядочности в поведении "на официальном уровне". Она также "держала планку" - чтобы не растренировался "в освоении культуры". Однако женщина эта - личность, но она категорически запретила мне что-либо писать о ней.

Несмотря на строгий запрет, не могу не сказать о своей последней и "окончательной" любви. Оправданием мне пусть послужит то, что с нею мы вместе "делали" книгу. Она же - самоотверженная исполнительница ее компьютерного варианта, первый читатель и насмешливый, неотразимо "ядовитый" критик.

В ней идеально соединилось то, что я всегда искал в женщине и чем "лишь частично" меня одаривали другие. Об этой женщине редкой красоты и беспощадно пронизательного ума, простой и надменной, загадочной и щедрой, бесшабашной ("однова живем!") я непременно напишу отдельно. И скорее всего - в подражание Генри Миллеру. Я совсем недавно открыл его для себя. И поразился открытию: он, оказывается, "обошел" философов всех времен и народов в выяснении тайны и смысла жизни. И обозначил их одним прекрасным женским символом, олицетворяющим великий закон всемирного - всечеловеческого - тяготения, который с самого детства (так уж получилось) особенно сильно на меня действовал во всем: в мыслях, в чувствах, в поведении и, в конечном счете, определял более или менее значимые для жизни мои решения.

Я хочу, чтобы эта книга была связана с именем Людмилы Павловны Рудаковой, "подытожившей меня".

Говоря этой книгой как бы "последнее прости" своей долгой "жизни" (увы - именно так) в аппарате ЦК КПСС, не могу не отметить одного эпизода, который все-таки... событие для меня.

Эйфория наградений не миновала и "т. Черняева". По случаю своего 60-летия я получил высший орден страны. Вот как это было.

За неделю до дня рождения вызвал меня Пономарев. Сияющий Борис Николаевич поднялся из-за стола и громко пошутил: "Встать смирно!" Остановился передо мной и торжественно зачитал постановление Политбюро. Я сказал в ответ какие-то обязательные слова и больше был тронут не наградой, а его, Пономарева, как сказал бы Достоевский, "замечательным волнением".

Потом я попытался разобраться в его чувствах. Конечно, он был горд и рад, что его зам, его международный отдел удостоились такой награды. Опять, мелькнуло тогда в голове: получается, что меня будто выносит все время за рамки положенного - кандидатов в члены ЦК среди десятков простых (не первых) замов в аппарате только я да Разумов из оргпартотдела, а уж ордена Ленина-то вообще никто из них не получал. Наверняка сам Б.Н. приложил немалые усилия, чтобы это произошло, ходил, говорили, к Суслову. Но на заседании секретариата ЦК, когда Черненко объявил "следующий вопрос" - "о награждении т. Черняева", Б.Н. почему-то вышел из зала.

Было в чувствах Бориса Николаевича и что-то личное. Он давно, скажем так, питал ко мне слабость. Может, ему импонировало мое бескорыстие, отсутствие тщеславия и карьерных мотивов, нежелание выпячиваться, "работать на публику"? Может, по контрасту - сам-то он всегда и всюду норовил "фигурять" впереди всех, даже - когда не по чину.

Что он меня не понял и по существу не знал - это очевидно. Мою "преданность делу", которая была не более как профессиональным отношением к своему ремеслу (если что-то делать, то уж на совесть!) он, видно, принимал за преданность лично ему. А самого себя считал персональным воплощением "дела ленинской партии".

Безусловно он оценил, что за 20 лет работы я никому "не лизал", ни перед кем не унижался, ничего ни у кого, в том числе и у него, моего начальника и "покровителя", никогда не просил.

Он считал - и проговаривался, бывало, - что под его крылом я "вырос, стал зрелым партийцем" (по его понятиям, очень высокая оценка). Что он сам подразумевал, когда говорил так - не знаю. А для меня это означало, что я усвоил аппаратную этику, знал, где можно, а где безнадежно лезть на рожон, принял ту "условную" мораль, которую полагали для себя обязательной честные аппаратчики.

Конечно, Б.Н. видел во мне идейного человека. Но за 20 лет ему и в голову не пришло, что "идейность" в моем и его представлении - "две большие разницы".

Мне бывало неловко смотреть невинными глазами в лицо Борису Николаевичу, зная, что он меня принимает не за того, какой я был на самом деле - по природе своей, по своему воспитанию и душевному складу, по образу мысли, по истинным интересам в жизни, по критериям, определявшим, в конечном счете, мое поведение и мое мнение о людях. Но я успокаивал себя тем, что был нужен ему... вместе со своими консультантами. Наше двоемыслие было как бы суррогатом "свободы творчества", из которого Б.Н. отбирал то, что так или иначе укладывалось в ортодоксальные пределы. Значит, я как-то отплачивал ему этот свой "обман".

В отделе все, за редким исключением, меня искренне и шумно поздравляли с "заслуженной" наградой. А мне было неловко. В душе я не считал себя достойным ее. И записал в дневнике: "Что я - по сравнению с награжденным таким же орденом комбайнером, который после уборки

урожая мог целый год кормить средней величины городок!" Но тут же добавил: "Есть Бог! Пусть это будет мне компенсацией за то, что командир корпуса завалил в конце войны мне Орден Красного Знамени. До сих пор, как вспомню, - страшно обидно".

Да, конечно, у нас, тех, кто по разным причинам оказался в номенклатуре, - много грехов, главным образом против классической морали, созданной в России великим нашим XIX веком. Но мы, служившие Центральному Комитету КПСС, сильно отличались от постперестроечных номенклатурщиков (и не им нас судить!), которые превзошли нас на несколько порядков и по численности и по дороговизне и у которых слово "мораль" вообще вышла из употребления. Система, которой мы служили, обирала народ на потребу идеологии и милитаризму. Но, в отличие от большинства современных аппаратчиков, лично мы - не воровали ¹.

¹ Эту "формулу" (в которой, конечно, под воровством имеется в виду не вульгарная кража, а "жизненный принцип" в российско-карамзинском значении) я позаимствовал из статьи одного моего коллеги по Горбачев-фонду, тоже работавшего в международном отделе ЦК, ученого и блестящего публициста...